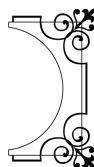


ВЕДЬМА



Иногда, вспоминая, даже удивишься — неужели были такие люди, такая жизнь?

Иностранцу, само собою разумеется, рассказать об этом совершенно невозможно — ничего не поймет и ничему не поверит. Ну, а настоящий русский человек, не окончательно бывшее забывший, тот, конечно, все сочтет вполне достоверным и будет прав.

Вот расскажу вам сейчас историю, которую слышала от одной очень уважаемой дамы. И ничуть меня эта история не удивила. То ли еще у нас было!

— Было это, — начала рассказ свой моя приятельница, — лет тридцать тому назад. А может быть, и немножко меньше. Жили мы тогда в маленьком степном городке, где муж служил мировым судьей.

И скучное же было место этот самый городишка! Летом пыль, зимой снегу наметет выше уличных фонарей, весной и осенью такая грязь, что на соборной площади тройка чуть не утонула, верев-

ками лошадей вытягивали. Помню, ходила наша кухарка в курень — там булочная курень называлась — так сапоги выше колен надевала. А раз мы с мужем засиделись в гостях, вышли, а за это время так улица раскисла, что перейти ее никакой возможности не оказалось. Хорошо, что по нашу сторону был постоянный двор — там и заночевали, а утром в телеге нас домой доставили.

Нудная была жизнь.

Чиновники ходили друг к другу в карты играть. Был и клуб, очень убогий. Там иногда какой-нибудь шулер обчищал чиновничьи карманы, так и то праздником считалось. Все-таки хоть печальное, да оживление.

Дамы больше сидели по домам.

Да и куда выйдешь?

Помню, раз брожу я поздно вечером — просто от тоски вышла — луна светит и тихо, тихо... Ни одного огонька в окнах, дышит мутная, лунная степь теплой полынью. И дрожит над тихими улицами истерический птичий вопль — это — мне уже говорили — плачет докторова цесарка, у которой зарезали самца. Плачет цесарка все одной и той же фразой, три ноты в ряд, две тоном выше. Рассказать мне вам трудно, но такой безысходной тоски, как этот плач над мертвым городком, в этой безысходной глухой тишине вынести человеческой душе невозможно.

Помню — пришла я домой и говорю мужу:

— Теперь я понимаю, как люди вешаются.

А он вскрикнул и схватился за голову. Видно, уж очень у меня лицо страшное было...

Жили мы, однако, мирно, семейно. Было мне тогда лет девятнадцать, Валечке моей года полтора. При ней нянюшка, старушонка, потерявшая счет годам, рожденная еще в крепостном состоянии у моей тетки. Квартира была уютная, на стенах в рамках институтские подруги и товарищи мужа по правоведению.

Прислуга в этом городишке была отвратительная. Все бабы пьяницы и табак курили, а по ночам впускали к себе в окошко местного донжуана, безногого водовоза.

Но мне в отношении горничной отчасти повезло. Была она очень тихая, рябая, белобрысая и обладала необычайной способностью находить потерянные вещи.

— Устюша, — спросишь ее, — не видали ли вы моих ключей?

Она минутку подумает, потом решительно пойдет в кухню, принесет метлу, засунет ее под диван и выволочет ключи.

Раз даже так было.

— Помните, — говорю, — Устюша, у меня в прошлом году на туалетном столике все какая-то бархотка валялась? Где бы она могла быть?

Устюша подумала, подошла к креслу, засунула руку между спинкой и сиденьем, пошарила и вытащила.

Все это, конечно, было очень занятно и удобно. К тому же она не курила и не напивалась.

С остальной прислугой жила она мирно, но надо отметить, что хотя с ней и не ссорились, но смотрели на нее как-то точно исподлобья, не то

подозревая ее в чем-то, не то побаиваясь. Но кто уже явно враждебно к ней относился, так это наша кошка. Едва Устюша появлялась в комнате, как кошка вскакивала, вытягивалась на лапах вверх, шерсть у нее становилась дыбом, и удирала кошка со всех ног куда попало и забивалась в угол.

— Что, Устинья бьет ее, что ли? — удивлялись мы. Но как-то непохоже было. Уж очень наша слуга была тихая, ходила с опущенными глазами и говорила почтительно.

Все бы хорошо, но надо сказать, что водились за ней странности. Как их назвать, даже и слова не подберешь. Рассеянность, что ли. Например, пошлешь ее за булками, а она принесет петуха. Ну куда нам петуха к чаю?

Позвали раз мы вечером гостей — доктора Мухина и следователя с женами, в винт играть. Все приготовили, ждем.

Вот кто-то как будто позвонил, слышим, Устюша открывает, но, однако, никто не вошел. Потом опять звонок, и опять никого нет. Муж говорит: «Что-то здесь странное». Позвали Устюшу.

— Кто звонил?

— Следователь с барыней да Мухины господа.

— Так отчего же они не вошли?

— А я им сказала, что вы уже спать полягали.

— Зачем же вы так сказали! Ведь вы же знали, что мы гостей ждем и вас за конфетами посылали и кружевную скатерть накрыли!

Молчит. Стоит, глаза опущены, круглая, желтая, совсем репа.

— Зачем же вы это сделали?

— Виновата.

И ничего больше от нее и не добились.

Много раз твердо решали мы ее выгнать, да все боялись, что следующая еще хуже окажется.

Но раз выкинула она штуку совсем уж непростительную. Дело было на масленице, и позвали мы на блины человек пятнадцать. Все было готово, уже начали садиться за стол, как вдруг мне показалось, что маловато будет семги.

Бакалейный магазин был рядом с нами, и я шепнула Устюше.

Устюша живо побежала, а мы принялись за блины. Только, смотрю, подает блины не Устюша, а кухарка.

— Что это значит? — Бегу в кухню.

— А где же Устюша? Чего же она не подает?

— Да она, барыня, подавать не будет. Она в деревню на свадьбу уехала.

— Как на свадьбу? Я ее в лавку послала.

— А она по дороге куму встретила, та ей сказала, что сегодня в деревне свадьбу играют, она сложила узелок да и поехала.

Можете себе представить, как это нас поразило!

Пропадала Устюша ни много ни мало четыре дня. И все это время мы не переставали толковать о ней и возмущаться этой сверхмерной наглостью.

— Я ей скажу, — сдвинув брови, говорил муж. — Я ей скажу: «Устинья, отвечайте категорически...»

— Ну, вот видишь, — прервала я, — «категорически»... Ты совершенно не умеешь говорить с народом! Я сама ей скажу...

— Ты? Разве ты можешь сделать кому-нибудь серьезный выговор? Ты начнешь хныкать, и все пропало. С ней надо говорить резко. Я скажу: «если ваша функция горничной...»

— А я тебе все-таки советую не ввязываться. С ними надо говорить просто: «Устинья, убирайтесь вон». Вот и все тут.

Долго мы спорили, отстаивали каждый свое право выгнать Устюшу...

Я попросила кухарку подыскать поскорее другую горничную.

— Это зачем же?

— Как зачем? Ведь я же Устинью выгоню. — Кухарка загадочно улыбалась.

— Никогда вы ее не выгоните!

— Почему?

— А потому, что она каждую ночь на вас шепчет, и бумагу жжет, и в трубу дует. Вы ее прогнать не можете.

Посмеялась, рассказала мужу.

— Вот темный народ! Какое безобразное суеверие. А она еще вдобавок грамотная.

Велели кухарке непременно найти новую горничную, а сами все толковали, кто из нас лучше сумеет Устинью выгнать.

— Что это значит, что она бумагу жжет и в трубу дует? — допытывалась я.

— Мало ли у темных людей всяких суеверных пережитков средневековья, — объяснял муж. — Меня только удивляет, что Устинья способна на такой вздор.

— А может быть, просто кухарка наклеветала, чтобы выжить ее и какую-нибудь свою куму рекомендовать?

— Может быть, и так. Но дело сейчас не в праздных догадках, а в том, чтобы, не медля ни минуты, выгнать ее. И это я беру на себя.

— Нет, я беру на себя.

— А я убедительно прошу мне не противоречить.

На четвертый день вечером сидели мы с мужем вдвоем за самоваром. Я вязала, как сейчас помню, Валечке рукавички. Муж раскладывал пасьянс. А на столе сидела кошка и жмурилась на молочник со сливками.

Вдруг кошка вскочила, лапы вытянула, шерсть дыбом, прыгнула со стола и брысь в гостиную. И тотчас портьера раздвинулась и вошла в комнату Устюша. Тихая, круглая, желтая, как всегда. Подошла к мужу, поцеловала его в плечо, потом ко мне, поцеловала меня в плечо, потом повернулась к буфету, взяла какие-то чашки и медленно вышла.

— Так что же ты! — шепнула я мужу.

— Да ведь ты же хотела сама... — смущенно бормотал он.

— Господи! ведь ты же кричал, что непременно сам ее выгонишь! Что же теперь делать? Я теперь уж и не знаю, как мне приступить...

Опять вошла Устюша, спокойная, встала у дверей и спросила:

— Можно прачке вчерашний пирог отдать?

— Можно, — ответила я.

— Можно, можно, — поддакнул муж.

Почему он вмешался, раз он никогда в хозяйственные дела не совался и даже, конечно, ни о каком пироге ничего не знал?..

— Ну, как же теперь быть? — совсем растерялась я.

— Может быть, завтра все это выйдет удачнее... — смущенно бормотал муж. — Ты завтра утром просто скажи ей, что ее услуги нам больше не нужны.

— Почему же непременно я? Скажи сам. Ты глава дома.

И прибавила:

— Вот что значит в трубу дуть, не смеешь ее прогнать.

— Не говори глупостей, — сердито оборвал он и вышел из комнаты.

Так это дело и заглохло. Но ненадолго. Скоро разыгралась у нас такая история, о которой, пожалуй, в городке этом до сих пор вспоминают «не к ночи будь сказано».

Вот не знаю даже — сумею ли рассказать вам эту главную историю нашей жизни в К-ской губернии. Уж очень она странной покажется по нынешним временам.

Так вот, вскоре после Устиньиной отлучки без спросу неожиданно ушла кухарка. Очень загадочно, вдруг пришла за расчетом. Плела какую-то ерунду, что, мол, хочет отдохнуть в деревне, а сама осталась в городе, и все ее видели.

— Почему она ушла? — спросила я у няньки. — Может быть, ей жалованья было мало, так сказала бы, мы бы прибавили.

— Жалованья ей было очень даже довольно, — ответила нянька. — Эдакого места ей вовеки не найти. Сама говорила, что у такой барыни живи да живи. Масло, мол, не взвешивает, яиц не считает, совсем, говорит, дура барыня. Жить даже очень хорошо.

— Так отчего же она ушла, если жалованьем была довольна? — спросила я, делая вид, что не расслышала последних слов.

— Ушла потому, что вымели.

— Как — вымели?

Нянька подошла поближе и зашептала:

— Укладка у ней в кухне стояла, под ключом. Прошлую субботу полезла за чистой рубахой, глядь, а в укладке поверх всего веник лежит. Ну, она скорей вещи собрала да давай бог ноги.

— Как же в закрытую укладку веник попал? — удивилась я.

— Вот то-то и оно! Раз уж так ее выметает, так уж тут ждать нечего.

Как я уже говорила, была наша нянька очень старая, и, вероятно, от старости выражение лица у нее было очень мудрое: глаза исподлобья, рот углами вниз. А между тем, дура она была феноменальная. Говорит, бывало, маленькой Валечке:

— Вот не будешь меня слушаться — уйду к деткам Корсаковым, они свою нянечку любят и ждут.

А детки Корсаковы уже сами давно от старости из ума выжили. Один — генерал в отставке, другой за разгул под опеку взят.

И любила нянька всякие страсти.

Как-то рассказывала, что собственными глазами видела водяного.

— Жила я у вашей тетеньки и пошла с Лизанькой утром к речке гулять. Вдруг слышу, ухнуло что-то, будто из пушки выпалило, и вся вода ходунном пошла. Хорошо, что со мной младенчик был, ангельская душенька и меня сохранила, а то бы водяной обязательно в речку утянул.

Я потом спрашивала у тетки, что это за история.

— А просто кучер купался, — сказала тетка. Много нянька вообще всякой ерунды плела, но на этот раз факт налицо: кухарка ушла из-за веника.

Рассказала я всю эту историю мужу. Тому было досадно, что хорошая кухарка ушла.

— Наверное, это Устиньины фокусы. Давно следует ее выгнать. Я с ней на днях поговорю. Надоела она мне.

— Да и мне тоже, — сказала я.

Так почти и порешили — Устинью гнать.

Только вот ушел как-то муж вечером в клуб, а я сидела у себя в спальней, собираясь спать ложиться. И помню, было у меня что-то на душе беспокойно. От того ли, что ветер в трубе выл — такая весна скверная, с метелями, со снежными заносами — ужас.

Воет ветер, стучит заслонкой — тоска!

И вдруг входит нянька. Лицо мудрое, губы сжаты...

— Господи! Нянюшка! Что случилось?

А она подошла поближе, оглянулась, да и говорит:

— Барыня, а барыня, вы в столовую вечером не заходили?

— Нет, — говорю, — не заходила. А что?

— Ну, так пойдите, посмотрите, что у нас там делается. А я, воля ваша, больше в этом доме не останусь.

Очень удивленная, пошла я за нянькой в столовую, остановилась у дверей. Ничего — комната как комната, над столом лампа горит.

— Да вы на стулья посмотрите — аль не видите? — Смотрю — стоят стулья вокруг стола, странно стоят: спинками к столу, сиденьем наружу. Вся дюжина так поставлена.

— А этот, смотрите, тринадцатый, как сюда попал?.. — Смотрю — и правда, стоит отдельно около узкого края на хозяйском месте какой-то ковровый стулик, совсем мне неизвестный...

— Что же все это значит? — Нянька зловеще молчала.

— Может быть, это Валечка играла?.. — сказала я.

— Это полуторогодовалый ребенок такие тяжелые стулья станет двигать! Выдумали тоже!

Я совсем растерялась. Может быть, теперь смешно покажется, но тогда, уверяю вас, было очень жутко. Комната вдруг показалась совсем незнакомой, и лампа как будто как-то странно горит. И этот тринадцатый стул, бог знает откуда взявшийся...

Говорю робко:

— Нянюшка! Может быть, лучше стулья на место поставить?

Она даже испугалась:

— Ой, что вы это говорите! Да разве их можно теперь с места сдвинуть! На ем на каждом сам посидел.

— Нянюшка! А зачем же все это сделано?

— А затем, что нам отсюда всем поворот показан.

— Поворот?

— Да, от ворот поворот, вот бог, а вот порог. Поворачивайте, и вон отсюда!

— Нянюшка, милая, а Валечка что? Валечка спит? — с ужасом спрашиваю я.

— Валечка спит. А с вечера молочка просила, — зловеще ответила нянька и, помолчав, прибавила: — А когда у Корсаковых Юшенька помирал, так все чаю просил.

Тут уж я ждать не стала. Бросилась в переднюю, схватила с вешалки шубу и побежала в клуб за мужем.

Нервы были так напряжены, что, когда из-за забора тявкнула на меня собака, я взвизгнула и пустилась бежать. От страха все дома казались незнакомыми, и я чуть не заблудилась в наших четырех улицах.

Добралась до клуба, вызвали мне мужа.

— У нас в доме неладно, — лепетала я. — Стулья перевернуты... Тринадцать... Няня говорит, что надо сейчас же съезжать, Валечка просила молока.

Тут я заплакала.

Муж слушал с ужасом и ничего не понимал.

— Подожди минутку, — сказал он наконец. — Я сейчас посоветуюсь с исправником.

— Скорее! — кричу ему вслед. — Дома ребенок один остался.

Вышел ко мне исправник. Я пролепетала ему все, что знала. Муж смущенно посматривал, бормотал ерунду про дамские нервы, но исправник

отнесся ко всему очень деловито, покряхтел и заявил, что пойдет сейчас же вместе с нами и выяснит дело на месте.

Исправник наш был старый опытный взяточник, человек приятный, любил пожить и жить давал другим.

Пошли вместе домой. Я, чувствуя себя под двойной защитой супружеской любви и закона, немного успокоилась. Исправник расспрашивал по дороге о нашей прислуге. Мы отвечали, что кухарка в комнаты не входит, горничная живет уже больше года, а нянька вообще вековечная.

Вошли в дом, открыли дверь в столовую.

Я, хоть и была под двойной защитой, сразу опять поддалась прежнему впечатлению.

Исправник постоял на пороге.

— Все здесь оставлено в неприкосновенности?

— Да, да.

— Мм... Это хорошо, что вы ничего не трогали.

Попросите сюда прислугу. По очереди.

Приплелась нянька. Лицо мудрое.

— Ну, старуха, показывай все, что знаешь по этому делу.

К удивлению моему, нянька вдруг от всего отперлась.

— Знать ничего не знаю и ведать не ведаю. А только в столовую вы меня никакой силой войти не заставите.

Исправник посмотрел на нее с уважением и велел позвать следующих.

Пришла сонная кухарка, ответила на все «а мне ни к чему», с ударением на «о», икнула и ушла.

Потом вызвали Устинью.

Исправник приосанился, налетел орлом.

— Эт-то что у вас за безобразия? Зачем ты стулья переверотила?

Устинья стояла, поджав губы, опустил глаза.

— Я ничего не трогала, со стола прибрала и пошла на кухню.

— А тринадцатый стул откуда? Отвечай, шельма!

— Ничего я не брала и ничего не знаю.

— Ну это мы сейчас увидим! Нет ли у вас где-нибудь земли? — обратился он к мужу.

— Мое личное имение в Могилевской губернии, — растерянно отвечал тот.

— Да нет, я не про то... Да вот иди, шельма, сюда. — Он схватил Устинью за локоть и потянул к кадке с фикусом.

— Вот. Бери, ешь землю, если не виновата. — Устинья покорно взяла щепотку земли и пожевала.

— Тэ-эк! — одобрил исправник. — Можешь идти. — Устинья спокойно вышла.

— Ну, раз она на своей правде землю ела, значит, она вне подозрения. Тэ-эк. Теперь я вам пришлю городского, пусть у вас в передней переночует. Если чуть что — сейчас же дайте знать в полицию. А теперь разрешите приложиться к ручке и прошу ни о чем не беспокоиться. И не в таких переделках бывали.

Ушел.

Остались мы вдвоем и не знаем, что делать. Зашли в детскую. Валечка спит. Нянька лежит на спине и точно муху с губы сдувает — значит, тоже спит.

— Хочешь, заглянем в столовую? — говорю я.
— К чему? Что за смысл? — Вижу, не хочется ему.

Пошли спать. Света, однако, не гасили. Я уже задремала...

— Не кажется ли тебе, что кто-то по столовой ходит? — спрашивает шепотом муж.

— Н-не с-слышу! — шепчу я.

Он сидит на постели, весь насторожился. И вдруг под окном что-то стукнуло.

— Кто там? — с ужасом, с визгом завопил муж. — Кто там? Я стрелять буду!

В ответ что-то стукнуло...

— Молчи, ради бога! — говорит муж. — Так можно совсем голову потерять.

Он встает, гасит лампу, тихо подкрадывается к окну, отодвигает занавеску, смотрит.

— Там кто-то стоит! — шепчет он прерывающимся голосом.

И вдруг дверь открылась и что-то косматое заглянуло в комнату.

Я с криком вскочила.

— Это я! Это я! — шамкает нянька. — Круг дома ходит. Сам ходит. Теперь нам конец.

— Кто? Зачем?

— Видно, ужинать-то его позвали на ковровом-то стуле, а дверь я с молитвой закрыла, ему и не войтить!

— Тише, тише! — шепнул муж. — Звонят! — Действительно, кто-то тихонько позвонил. И еще раз. Мы тихо пошли по коридору.

Опять звонок!..

— Кто там? — крикнул муж. — Я стрелять буду!
— Вау, вау... — отвечают за дверью, не разобравшись что. Потом разобрали «благородие», «исправник». Слова успокоительные.

Муж приоткрыл дверь. Городовой!

— Господин исправник прислали дежурить.

— Чего же ты кругом дома ходишь, болван!

— Да не смел звонком беспокоить. Постучал в одно окошечко, а там старушка меня закрепощивать начала. Постучал в другое, а там какая-то баба визжит и стрелять в меня обещает, ну я и решил позвонить.

— Входи, входи, голубчик, — сказал муж. — Дайте ему водки, пусть согрется.

Ему, кажется, очень неприятно было, что этот дурень принял его голос за бабий визг.

Утром муж разбудил меня и говорит:

— Конечно, все это ерунда, все эти нянькины «отвороты», но раз ты так нервничаешь, то лучше всего собирай скорее вещи и поезжай с няней и Валей к твоей маме. Ты ведь давно хотела. Прислугу я отпущу и поеду погостить к предводителю — он еще вчера в клубе умолял. А к тому времени освободится докторова квартира — гораздо лучше этой, — туда и переедем. Между прочим, ковровый стулик из передней, он там в углу стоял, мы о нем и забыли. Но это, конечно, дела не меняет, и раз тебе непременно хочется ехать к маме, так и поезжай.

Сам он хотя и не нервничал, но все что-то топтался на одном месте и кусал усы.

— Я вовсе не нервничаю, — ответила я. — Я не какая-нибудь суеверная баба, я интеллигентная

женщина. Но так как няня ни за что не хочет здесь оставаться, а я ею очень дорожу, то мне ничего не остается, как уехать. А дверь в столовую пока что лучше бы запереть... Я, конечно, не боюсь... но...

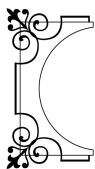
— Я ее еще вчера на ключ запер, — ответил муж. Хотел еще что-то прибавить, покраснел и замолчал.

Теперь, когда я все это вспоминаю, то думаю, что, вероятно, Устинья, прибирая вечером столовую, забыла поставить стулья на место, а когда увидела, что из этого получилась целая история с вмешательством полиции, конечно, испугалась и не посмела признаться.

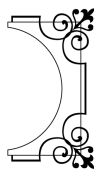
Однако, если бы я была суеверной, то, пожалуй, подумала бы: все-таки глупо это, а тем не менее ведь «поворотило» же нас из этого дома, поворотило и выгнало. Как там ни посмеивайся, а ведь вышло-то не по-нашему, по-разумному и интеллигентному, а по темному нянькиному толкованию...

Квартира наша целый год пустовала, никто в ней жить не соглашался. Потом сняли ее под почтовую контору.





ВУРДАЛАК



Версты за полторы от нашей усадьбы, за селом, около погоста, стоял домик нашего священника отца Савелия Гиацинтова.

Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе. Только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой — деревянными плашками.

Было в домике маленькое трехконное зальце. Окошки выходили прямо в густые заросли сирени, и поэтому свет в комнате был зеленый и люди в зальце зеленые, как покойники.

Потом шла спальенка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья. Была еще комнатка без определенного названия. В ней стояли мешки, кадушки и спала тетя Ганя, батюшкина сестра.

Вся семья батюшки состояла из матушки, дочки Лизы, нашей сверстницы, да вот этой тети Гани, имя которой выговаривалось с придыханием почти на «х» — Ханя.

Батюшка был худ, высок, добр и очень беден. Сам, бывало, в высоких сапогах и холщовом под-

ряснике шагал за сохой. Жиденькие косички подкручивал под широкую соломенную шляпу.

Матушка была огромная, высокогрудая, нос трубой. Вероятно, от этого строения носа говорила несколько гнусаво, что производило впечатление надменности.

Тетя Ганя появлялась у нас редко, только в самые торжественные поздравительные дни, и помню я ее в ярко-зеленой бархатной кофточке с зеленым галстучком.

Батюшку прихожане любили, хотя он был строг.

Помню, в церкви, когда причастники, напирая друг на друга, лезли к чаше, он очень гневно кричал:

— Куда прете, козлища! Разве может господь всех вас сразу напитать! Становитесь в очередь!

«Козлища» в свитках с огромными, собственного изделия, толстыми, как бревна, свечами темно-желтого воска толпились испуганно и упрямо и заранее разевали рот.

Церковь была маленькая.

На полу около амвона прихожане ставили свои приношения причту: глиняную миску, а в ней торчмя три продолговатых хлеба и в середине жареная курица или квадратный кусок сала, надрезанный крестом.

Перед этими хлебами и курами часто видели мы молодую бабу или дивчину, покаянно на коленях простаивавшую всю обедню. Это батюшка наказывал за какую-то таинственную провинность, нам, детям, не объясняемую.

Притвор церковный украшали две большие картины религиозного содержания, пожертвованные моим отцом. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Изображала она бичевание Христа. На первом плане помещалась фигура одного из бичующих, рыжего, волосы дыбом, босого, в ярко-зеленой рубахе. Нога его с невероятно развитым большим пальцем, снабженным на первом суставе огромной шишкой, явно подагрического происхождения, занимала самый низкий пункт на полотне, и поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую забываемую ногу.

Служил обедни вместе с батюшкой псаломщик, он же и звонарь. Славился псаломщик необычайно громким сморканием и при этом без помощи платка, что очень возмущало мою тонную старшую сестру. Чтобы образумить неистового псаломщика, она надумала подарить ему носовой платок, которым он немедленно прельстил просвирнину работницу. Работница простояла две обедни на коленях перед жареными курицами, а он трубил по-прежнему в руку.

Наша подруга Лиза, батюшкина дочка, девочка удивительная, несколько раз выдавшая черта и вообще вравшая так вдохновенно и самозабвенно, что даже худела и истощалась, как бы исходила этим враньем. Эта Лиза рассказывала нам, что куры, и хлеб, и сало запирались в шкаф и что обед у них никогда не готовился, а если кто хотел есть, то прямо лез в шкаф и ел. Мне это казалось удобством и роскошью гениальной.

— Когда я вырасту большой и выйду замуж (с этого начинались обыкновенно все мои мечты), у меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне — буду есть в спальне, проголодаюсь в передней — буду есть в передней. И никаких фокусов не надо — прямо сунь голову в шкаф и ешь!

Впрочем, может быть, Лиза в данном-то случае и не врала. Может быть, и правда у отца Савелия было такое усовершенствованное хозяйство — это, в сущности, было безразлично. Мы верили Лизе целиком, иначе уж очень скучно и просто было бы на белом свете.

Рассказывала Лиза, как приходил к ним портной. Такие странствующие портные появлялись в те годы в помещичьих усадьбах. Придут, обошьют всех, кого нужно, и идут дальше.

Так вот такой портной зашел и к бабушке. Сшил матушке салоп. Но это не главное. Главное и самое интересное то, что он потихоньку съел в амбаре всех крыс.

— Аж жалко! — прибавляла Лиза.

— А ты видела, как он их ел? — в ужасе спрашивали мы.

— Нет. Этого видеть нельзя. Если бы он узнал, что за ним подсмотрели, он бы тому человеку ножницами голову отхватил.

— А откуда же узналось?

— Кривая баба видела.

— А как же он ее не убил?

— А она никому не рассказала, он и не узнал, что она видела.

Кривая баба жила у бабушки «за все». То есть варила, мыла, полола, доила, стены белила, где нужно поливала и где можно подкрадывала.

Когда мы приходили к Лизе в гости, баба выползала из каких-то подклетей, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова:

— Сидят панюсеньки, таки малюсеньки, и с ручечками и с ножечками, и глазками пилькают, и что они там себе понимают, чи не понимают и кто их разберет.

Баба считалась безответной, но во всех таинственных Лизиних рассказах она всегда играла какую-нибудь роль. Баба, мол, слыхала, как на болоте плачут некрещеные младенцы, баба знала, что у нашей горничной Корнельки «под сподницей рыбий хвост», баба видела, как за старой мельницей какой-то зеленый шишкун лапой гром ловил и под себя прятал. И тех чертей, которых Лиза видала, баба, конечно, тоже видела, только признаваться не хочет, чтобы черт ей как-нибудь не подгадил. Черту ведь очень неприятно, если людям удастся за ним подглядеть. Черт должен быть невидимкой, а уж это, значит, совсем какой-то растяпа, если его человеческий глаз заметил.

Мы бабу уважали и побаивались. Особенно уважать стали после того, как она предсказала, что и месяца не пройдет, как будет у Лизы либо братец, либо сестрица. И действительно, в очень скором времени после этих слов пришла к нам Лиза с удивительной новостью: действительно родился

братец, красавец, весь в матушку, а умен так, что прямо все надивиться не могут.

— Что же он говорит? — спрашивали мы.

— Говорит только когда никто его не слышит. Баба подслушала, как он говорил. Голосок такой тоненький-тоненький, как у комарика. «Пора, говорит, печку топить, мне хо-о-олодно».

Вот какой родился у Лизы братец. Баба сразу его оценила.

Между прочим, мы никогда и не узнали, как бабу зовут. Кликали ее все просто бабой.

— Баба! — трубила матушка в свой могучий нос. — Баба! Наставь самовар! Баба! Тащи горлач молока!

Мы бегали взглянуть на братца. Окрестили его Авениром, называли Венюшкой. Безобразен он был потрясающе. Совсем паук! Живот вздутый, руки-ноги тонкие, длинные и все время выпячиваются и втягиваются, так что казалось, будто этих рук и ног по крайней мере пары три. И были у него ресницы необычайной длины, прямые, мокрые, прилипали к щекам. А всего страшнее были махры на голове — красно-рыжие, какие-то словно кровавые, похожие как у того рыжего, бичевавшего на священной картине. И большие пальцы на ногах так же отставали, как у того, и такие же были несо-размерно огромные.

Жуткий был ребенок.

Отец Савелий, однако, был доволен. Расхаживал по зальцу, заложив руки за спину, и тихо напевал, как определяла матушка, «из светского».

— М-мы... м-мы... м-мым...

Мы знали это пение и часто дразнили друг друга:

— Замолчи! Поешь, как отец Савелий из светского. — Но радовался он недолго. Ребенок был слаб и хил, и надежды, что поправится, было мало. Отец Савелий стал задумываться:

— Поздний плод сей, — говорил он. — Поздний плод сей не наберет себе солнечных соков. Не кровеносен, хил и сотрясается.

И вдруг все изменилось. Неожиданно и неладно.

К семейству отца Савелия нужно еще причислить матушкиного братца.

Но был он не постоянным членом семьи, а каким-то приходящим, как в школе бывают живущие и экстерны.

Матушкин братец «приходил». Так и говорилось:

— Ой, к попу нынче лучше не заглядывайте — попадьин братец пришел.

Откуда он приходит, почему и почему уходит — этого, кажется, никто не знал. Бывали у нас на Руси такие типы, встречались в разных кругах, больше, впрочем, в купеческих.

Внешность у этого братца была незабываемая. Рост огромный, нос фамильный, как у матушки, — трубой, кадык выпячен. Платье носил, вероятно, с чужого плеча, потому что все на нем было необычайно коротко и узко.

Насколько я теперь помню, было ему лет двадцать шесть, и был он как будто выгнанный семинарист, личность опустившаяся, страх и позор семьи.

Говорили о нем всегда словами грубыми и могучими. Вместо «ест» — «хряпает», вместо «пьет» — «трескает», вместо «говорит» — «рывает», вместо «смеется» — «гогочет».

И не для того, чтобы обидеть его, а, вероятно, потому, что слова обычной человеческой речи слабо его определяли, слишком были нежны для богатырской его личности.

Видела я его раза два.

Один раз он стоял посреди скотного двора и, размахивая руками, будто дирижируя хором, ревел:

«Нел-людим-мо наше м-м-море!»

Другой раз сидел на крылечке, шевелил пальцами босой ноги и долго сосредоточенно, будто удивленно, на них смотрел.

Потом сказал:

— Ишь как мудро придумала природа: пять штук натяпано и все ни к черту не нужны.

Здоровья он был совершенно неугасимого. Тетя Ганя рассказывала, как накалила она к зиме мешочек орехов и оставила в зальце. А он пришел да за один присест все и усидел.

— Ну и что же? — ахали слушатели.

— Ну и ничего. Поколотил себя кулаком по животу и пошел спать.

Являлся он всегда налегке без всякого багажа, иногда даже без шапки. Но раз принес какой-то маленький, вышитый гарусом саквояжик, с какими в те времена старухи в баню ходили. Поставил в уголок в прихожей, прогостил недолго, а когда ушел (как всегда не прощаясь), прислал оказией с мужиком из села верст за десять записку:

«Забыт саквояж. Прошу немедленно опечатать его именной сюргучной печатью и хранить в потаенном месте до моего возвращения».

Батюшка страшно перепугался.

— Бомба! Динамит!

Хотел было сразу ехать к исправнику и «во всем повиниться». Потом решил запечатать. Но печати, да еще именной, у батюшки не было. А ведь сказано строго: «именной сюргучной»... Тогда соблазнился и решил вскрыть и посмотреть.

Но в доме матушка не позволила, а во дворе могли подглядеть и донести.

И вот батюшка ночью, выждав луну, крадучись как тать, пробрался за амбары и, перекрестившись, повернул колечко.

В вышитом бабьем саквояже, озаренные мечтательным лунным светом, лежали — бутылка пива и полбутылки водки. Вот и все.

Очевидно, братцу не хотелось, чтобы знали, что у него так свято хранится, а с другой стороны, может быть, и беспокоился за целость. Вот и придумал именную печать.

Звали это чудовище Галактионом. Называли Галашей.

Позднему батюшкиному плоду, младенцу Аве ниру, было уже месяцев десять, когда неожиданно пожаловал Галаша. На этот раз оказался он очень припараженным, в демикотоновом сюртуке, даже не слишком коротком, и с какой-то поклажей, завернутой в замасленную газету.

— Был на кондиции, — объяснил он и без вопросов, сознавая, что удивляет роскошным своим видом. — У Галкинского управляющего оболтуса болванил. На экзамен повезут.

День был жаркий. Облобызавшись с батюшкой и матушкой, Галаша немедленно спустился

в погреб и там, по свидетельству тети Гани, «выдул молоко от четырех коров». Коров этих кривая баба при Гане выдоила и весь удой, процедив его, как полагается, отнесла в погреб.

Эпизод этот потом много раз рассказывался и всегда вызывал у слушателей сначала недоверие, потом ужас.

Но тете Гане не верить было нельзя. Да и сам Галаша не отрицал.

— Верррно, — говорил. — Выпил. И доведись еще — так и еще выпью.

Только что вылез Галаша из погреба, как его спешно перехватила матушка, желавшая поскорее похвастаться своим сыночком Венюшкой.

— Поздний плод, — приговаривал батюшка, — сотрясается. Продуктов потребляет изрядно, но не растет и не толстеет, однако тяжел. Ну, Ольга, покажи своего Веньямина, младшего отпрыска. Покажи дядюшке.

Матушка вынула из люльки младенца.

— Уже четыре зуба, — сказала она гордо, передавая ребенка Галактиону.

Галактион неловко, не глядя на него, поднял младенца к плечу. И вдруг тот весь затрясся и, царапая, словно кошка, ногтями по демикотоновому Галашиному сюртуку, укусил дядюшку за шею. Галаша от неожиданности дико вскрикнул и чуть не выпустил племянника из рук. Матушка в ужасе еле успела подхватить. Галаша тер шею и, выпуча глаза, смотрел на Венюшку.

— Господи, да что же это? — пробормотал он. — Какой страшный. Прямо вурдалак!

Венюшка действительно был страшен. Огненно-рыжий, щеки в красной коросте, как часто бывает у деревенских ребят, руки-ноги как прутья.

Испугал Венюшка дядьку так, что даже смешно. Огромный детина сразу присмирел, за ужином ни до чего не дотронулся — в этом, может быть, и «молоко от четырех коров» было виновато. Однако ночью стало его трясти так, что даже тетю Ганю разбудил, и та ему на живот горячую золу прикладывала, а утром стал гореть и бредить.

— Очень нехорошо он в бреде про Венюшку выражался, — рассказывала тетя Ганя. — Так нехорошо, что даже не повторить.

И прибавляла:

— Я, однако, думаю, что это ему молоко в голову бросилось.

Венюшка ли виноват, молоко ли, а только провалялся Галактион более месяца. Иссох, кожа желтая, скулы вылезли, как маслаки, стал весь словно объеденная мастальга.

Лечили его старательно: давали водки с перцем и с солью, поили липовым цветом, ромашкой, полынью, жгли козью шерсть, и два раза терла его баба керосином. Никаких результатов. Только раз дал бабе в зубы.

До того дошло, что чуть было за доктором не послали...

Когда мы приходили к Лизе играть, нас в комнаты не пускали, но через окно видна была в зальце койка и на ней под серой попонкой гигантское тело с торчащими наружу огромными сиреневыми ступнями.

Так пропадал бедный Галактион. А Венюшка между тем начал неожиданно набираться сил. Очень все удивлялись и радовались: ест меньше, а толстеет. Щеки налились, раздулись, руки-ноги окрепли. Сытый стал, прыгает так, что уж одного его боялась матушка в люльке оставлять — еще вывалится. Ползал по полу.

Вот раз вышла матушка в кухню и вдруг слышит: ревет Галаша козлиным голосом. Кинулась в комнаты: сидит больной на постели, глаза выкатил, трясется весь и орет. А у порога, ухватившись за притолку, стоит на кривых ногах, качаясь, младенец Авенир. Рот разинул и смотрит. Схватила матушка сына да и как раз вовремя, потому что Галактион стал по полу шарить, сапог ловить, чтобы запустить в племянничка. Бог его знает, что ему показалось. Человек в горячке, что с него спросишь.

— Вурдала-ак! Вурда-ла-ак! — кричит какую-то ерунду. Положили на голову мокрое полотенце — еле успокоили.

А вечером подошла кривая баба к батюшке и шепчет:

— Отец Савелий, а отец Савелий! Кабы этого Вурдалашеньку да на девять ден отсель увезти, так Галашенька бы и поправился.

Батюшка даже побелел весь:

— О ком ты, нечестивая, так выражаешься? — Думая, что он укоряет ее в непочтительности к матушкину брату, баба ответила:

— Да про Галактиона Тимофеича. Только что они больны, так я их Галашенькой...

Перед такой невинностью растерялся отец Савелий, и гнев у него прошел. Посмотрел на бабу и сказал даже с неким уважением:

— Ну баба, и дура же ты!

А баба на другое утро, отстряпавшись, ушла и пропадала до вечера, чего никогда с ней раньше не бывало.

Вернулась спокойная, будто и не виноватая, подошла к матушке:

— Я в Лычевку сбежала. Теперь все наладим. Иди, мать, в огород чесноку накопай.

В Лычевке, всем известно, жила Побориха, ведунья, колдунья, повитуха и костоправка. С ней можно было насчет всяких дел советоваться.

Матушка, наладившаяся было ругать бабу за отлучку, присмирела. Интересно стало, что за штуку придумала Побориха.

Первое дело оказалось — чтобы батюшка ничего не знал. Будет знать — дело не выгорит.

Второе — навязали чесноку на тесемку и надели Галактиону на шею. Потом пошла баба к младенцу Авениру и стала ему чесночной головкой в нос тыкать, пока тот не заревел.

— Ага, — сказала, — не нравится? Так вот так и знай! — Ночью сделались с младенцем корчи. Верно, с перепугу — уж очень страшно кричал на него Галактион.

И свершился с того дня перелом — стал ребенок хиреть, а Галактион поправляться.

Поправился, но засиживаться не стал. Чуть немножко отгелся, напялил на себя сюртук, разыскал свою поклажу — замасленный сверток — и ушел.

Но на этот раз попрощался. Только не со всеми, а с Авениром.

Подошел к люльке, посмотрел.

— Что, — сказал, — много взял? Шиш взял, братец ты мой!

Повернулся, плюнул и ушел.

Поздней осенью, вскоре после нашего отъезда, младенец Авенир отдал богу душу.

Родители очень горевали, а кривая баба от бабюшки ушла.

— Теперь, как он померши, жди от него и того хуже.

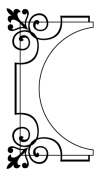
Впоследствии, несколько лет спустя, услышала я деревенскую легенду о страшном поповиче, который был мал как котенок, а ночью вылезал из люльки, вырастал «аж до потолка», четырех коров высасывал (вон оно как переметнулось!) и кто по пути попадется — насмерть загрызал. А пришел из Киева ученый дядька, спасенной жизни. Он вурдалака отчитал и душеньку его ослобонил.

А лучше всего в легенде было то, что разведала, мол, о поповиче-вурдалаке и обо всех его штуках «трехглазая баба».

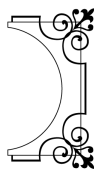
Голос народа — голос божий не только прибавил кривой бабе естественный глаз, которого у нее не хватало, но еще и одарил сверхъестественным третьим.

А что разнесла по белу свету сама кривая баба, это до меня не дошло. Хотя, пожалуй, насчет третьего глаза именно она и придумала.





Домовой



У нашей старой нянюшки было два врага — внешний и внутренний.

Внешний — безбровый, курносый и белоглазый — звался в глаза Эльвирой Карловной, а за глаза чертом чухонским. Занимал этот враг место бонны и представлял собою вторую ступень лестницы нашего воспитания. К ней в нашей семье переходили дети лет пяти прямо из детской от нянюшки для изучения наук.

Эльвира Карловна обучала азбуке и начаткам Закона Божия. Учила бодро, когда нужно подшлепывала.

Думается мне, что сама она в науках не очень была тверда. На лукавые вопросы отвечала шлепками и мудрой поговоркой:

— Много будешь знать, скоро состаришься.

Помню, читали мы о чудесном исцелении младенца каким-то пророком. Сказано было: «пророк простерся над младенцем». Я и спросила:

— А что значит «простерся»?

— «Простерся» значит лег на него голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам.

— Да как же так? — удивилась я. — Ведь про-рок был большой, а ребеночек маленький!

— Ну на то он и святой, — последовал ответ. Поговорки у Эльвиры были все какого-то разбой-ничьего уклона:

— Шито-крыто и концы в воду.

— Не за то вора бьют, что украл, а за то, что по-пался.

Вот эту самую бонну, Эльвиру, ненавидела ня-нюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненави-сти этой немалую роль играла ревность. «Рабенка» уводили из детской под начало курносой бабищи, которая терзала науками и шлепала, а нянюшкина власть кончалась.

Другой враг, внутренний, был домовый и назы-вался за глаза «хозяином».

Чего он только с нянюшкой не выделявал! Поло-жит ей под самый нос катушку, а глаза отведет, и ищет нянюшка злосчастную катушку, ползает по полу, кряхтит — нету и нету катушки! И вдруг — глянь, она тут как тут. Стоит на столе рядом с ножницами!

Или сдвинет старухе очки на лоб, а та тычется по всем углам:

— Кто мне очки запрятал?

В общем домовый был не злой, а только дурил. В сырую погоду не любил, чтобы печку топили. Экономный был, дрова жалел. Топи в мороз сколь-ко угодно, а коли затопит старуха печурку в отте-пель — залезет домовый в трубу и ну дуть, и весь дым гнать в комнату.

А то еще туфли старухины любил ночью засу-нуть подальше под кровать. Одним словом, дурил. Но зла особого не делал.